

Об искусстве (Сборник статей). Иоганн Вольфганг Гёте

В настоящее издание входят произведения “Фауст” (сцены из первой части), “Страдания юного Вертера”, “Эгмонт”, стихотворения, в которых выражены мысли о человечестве, любви и красоте, природе и искусстве, эстетические и нравственные идеалы поэта, а также статьи Гете об искусстве.

Рассчитано на старшеклассников, студентов вузов и техникумов, преподавателей, широкий круг читателей.

СОДЕРЖАНИЕ

Ко дню Шекспира. Перевод Н.Ман

Литературное санкюлотство. Перевод С.Герье

Из “Шекспир и несть ему конца”. Перевод П.Ман

Из “Сербских песен”. Перевод Л.Копелева

Короткие сообщения. Перевод Л.Копелева

Данте. Перевод С.Герье

German romance. Перевод С.Герье

“Faust”. Tragedie de Mr. de Goethe. Перевод Л.Копелева

Из “Общих размышлений о мировой литературе”. Перевод Л.Копелева

Благожелательный ответ. Перевод Н.Ман

Из “Максимов и рефлексий”. Перевод Н.Вильмонта и Н.Ман

КО ДНЮ ШЕКСПИРА

(1771)

Мне думается, это благороднейшее из наших чувств: надежда остаться и тогда, когда судьба, казалось бы, уводит нас назад, ко всеобщему несуществованию. Эта жизнь, милостивые государи, слишком коротка для нашей души; доказательство, что каждый человек, самый малый, равно как и величайший, бесталаннейший и наиболее достойный, скорее устает от чего угодно, чем от жизни, и что никто не достигает цели, к которой он так пламенно стремится; ибо если кому-нибудь и посчастливится на его пути, то в конце концов он все же, часто перед лицом так долго чаянной цели, попадает в яму, бог весть кем вырытую, и считается за ничто.

Считаюсь за ничто? Я? Когда я для себя все, когда я все познаю только через себя! Так восклицает каждый, кто живо себя ощущает и большими шагами шествует по жизни, подготовляясь к бесконечному пути в потустороннем. Разумеется, - каждый по своей мерке. Если один отправляется в дорогу бодрым шагом, то на другом - семимильные сапоги, он обгоняет его, и два шага последнего равняются дневному пути первого. Будь с ним что будет, но и этот ревностный странник останется нашим другом и нашим товарищем даже и тогда, когда мы дивимся гигантским шагам другого, идем по его следам, измеряем его шаги своими.

В путь, милостивые государи. Вид даже одного такого следа делает нашу душу пламенней и возвышенней, чем глаzenie на тысяченогий королевский поезд.

Мы чтим сегодня память величайшего странника и тем самым воздаем честь и себе. В нас есть ростки тех заслуг, ценить которые мы умеем.

Не ждите, чтобы я написал много и тщательно. Спокойствие не праздничный наряд, да к тому же я до сих пор мало думал о Шекспире; предчувствовал его, иногда ощущал, выше этого я не сумел подняться. Первая же страница Шекспира, которую я прочел, покорила меня на всю жизнь, а одолев первую его вещь, я стоял как слепорожденный, которому чудотворная рука вдруг даровала зрение. Я познавал, я живо чувствовал, что мое существование умножилось на бесконечность; все было мне новым, неведомым; и непривычный свет причинял боль моим глазам. Час за часом я научался видеть, и - благодарение моему познавательному гению - я еще и теперь чувствую, что мне удалось приобрести.

Не колеблясь ни минуты, я отказался от театра, подчиненного правилам. Единство места казалось мне устрашающим, как подземелье, единство действия и времени тяжкими цепями, сковывающими воображение. Я вырвался на свежий воздух и впервые почувствовал, что у меня есть руки и ноги. И теперь, когда я увидел, сколько несправедливостей причинили мне создатели этих правил, сидя в своей дыре, в которой - увы! - пресмыкается еще немало свободных душ, - мое сердце расколосилось бы надвое, не объяви я им войны и не попытаюсь ежедневно разрушать их козни.

Греческий театр, который французы взяли за образец, по своей внутренней и внешней сущности был таков, что скорее маркизу удалось бы подражать Алкивиаду, чем Корнелиям уподобиться Софоклу.

Вначале как интермеццо богослужения, затем став торжественной частью политики, трагедия показывала народу великие деяния отцов, чистой простотой совершенства пробуждая в душах величие чувства, ибо и сама была цельной и великой.

И в каких душах!

В греческих! Я не могу объяснить, что это значит, но я чувствую это и, краткости ради, сошлюсь на Гомера, Софокла и Феокрита; они научили меня это чувствовать.

И мне хочется тут же к этому прибавить: “французик, на что тебе греческие доспехи, они слишком тяжелы и велики для тебя”.

Поэтому-то все французские трагедии пародируют самих себя.

Сколь чинно там все происходит, как похожи они друг на друга, - словно два сапога, и как скучны к тому же, особенно в четвертом акте, - это известно вам по опыту, милостивые государи, и я не стану об этом распространяться.

Кому, собственно, первому пришла мысль перенести важнейшие государственные дела на театр, я не знаю; здесь для любителей открывается возможность критических исследований. Я сомневаюсь в том, чтобы честь этого открытия принадлежала Шекспиру; достаточно того, что он возвел этот вид драмы в ту степень, которая и поныне кажется высочайшей, ибо так мало глаз достигали ее и, следовательно, трудно надеяться, что кому-нибудь удастся заглянуть еще выше или ее превзойти.

Шекспир, друг мой, если бы ты был среди нас, я мог бы жить только вблизи тебя; и как охотно бы согласился я играть второстепенную роль Пилада, если бы ты был Орестом, куда охотнее, чем почтенную особу верховного жреца в Дельфийском храме.

Я здесь намерен сделать перерыв, милостивые государи, и завтра писать дальше, так как попал в тон, который, быть может, не понравится вам, хотя он непосредственно подсказан мне сердцем.

Шекспировский театр - это чудесный ящик редкостей, в котором мировая история как бы по невидимой нити времени шествует перед нашими глазами. Его планы в обычном смысле слова даже и не планы. Но все его пьесы вращаются вокруг скрытой точки (которую не увидел и не определил еще ни один философ), где вся своеобычность нашего “я” и дерзновенная свобода нашей воли сталкиваются с неизбежным ходом целого. Но наш испорченный вкус так затуманил нам глаза, что мы почти нуждаемся во вторичном рождении, чтобы выбраться из этой темноты.

Все французы и зараженные ими немцы - даже Виланд - при этой okazji, как, впрочем, и при многих других, снискали себе мало чести. Вольтер, сделавший своей профессией чернить величества, и здесь проявил себя подлинным Ферситом. Будь я Улиссом, его спина извивалась бы под моим жезлом.

Для большинства этих господ камнем преткновения служат прежде всего характеры, созданные Шекспиром.

А я восклицаю: природа, природа! Что может быть больше природой, чем люди Шекспира!

И вот они все на меня обрушились!

Дайте мне воздуху, чтобы я мог говорить!

Да, Шекспир соревновался с Прометеем! По его примеру черта за чертой создавал он своих людей, но в колоссальных масштабах - потому-то мы и не узнаем наших братьев, - и затем оживил их дыханием своего гения; это он говорит их устами, и мы невольно узнаем их сродство.

И как смеет наш век судить о природе? Откуда можем мы знать ее, мы, которые с детских лет все ощущаем на себе стянутым и приукрашенным и таким же видим все и на других.

Мне часто становится стыдно перед Шекспиром, ибо случается, что и я при первом взгляде думаю: это я сделал бы по-другому; и тут же понимаю, что я только бедный грешник, а из Шекспира вещает сама природа, мои же люди только пестрые мыльные пузыри, пущенные по воздуху романтическими мечтаниями.

И, наконец, - в заключение, хотя я, в сущности, еще и не начинал.

То, что благородные философы говорили о вселенной, относится и к Шекспиру; все, что мы зовем злом, есть лишь обратная сторона добра, которая так же необходима для его существования, как то, что *zona torrida** должна пылать, а Лапландия покрываться льдами, для того чтобы стал возможен умеренный пояс. Он проводит нас по всему миру, но мы, изнеженные, неопытные люди, кричим при встрече с каждым незнакомым кузнециком: “Господи, он нас съест”.

Знойная зона (латин.).

Так в путь же, милостивые государи, трубным гласом сзывайте ко мне все благородные души из Элизима так называемого “хорошего вкуса”, где они, сонные, влечат свое полусуществование в тоскливых сумерках, со страстями в сердце и без мозга в костях, и где, недостаточно усталые, чтобы отдыхать, и все же слишком ленивые, чтобы действовать, они протрачивают и прозевают свою призрачную жизнь среди мира и лавровых кущ

ЛИТЕРАТУРНОЕ САНКЮЛОТСТВО

(1795)

В “Берлинском архиве современного вкуса”, а именно в мартовском выпуске этого года, помещена статья “О прозе и о красноречии немцев”, которую издатели, по собственному их признанию, включили в журнал не без некоторых колебаний. Мы со своей стороны не осуждаем их за то, что они поместили это незрелое произведение! Ибо, если архив должен сохранять свидетельства о характере эпохи, то это обязывает его увековечивать и характерные ее недостатки. Правда, тот решительный тон и манера поведения, с помощью которых иные всерьез думают придать себе вид всеобъемлющего гения в кругу наших критиков, отнюдь не новы. Замечается даже возврат отдельных лиц к более грубым переменам, и от этого не нам их удерживать. Так пусть же “Оры”, даже если то, что мы имеем здесь сказать, было уже неоднократно и, быть может, лучше сказано, сохраняет по крайней мере свидетельство о том, что наряду с несправедливыми и преувеличенными требованиями к нашим писателям встречаются и справедливые, благожелательные оценки этих мужей, столь мало вознаграждаемых сравнительно с их трудами.

Автор сетует на недостаток у немцев хороших классических произведений в прозе и тут же высоко заносит ногу, чтобы одним исполинским шагом перешагнуть через дюжину лучших наших писателей. Не называя их даже по имени, он их умеренно хвалит и тут же строжайшим образом порицает, давая им такую характеристику, что только с великим трудом удастся угадывать, кого он имеет в виду в своих карикатурах.

Мы убеждены, что ни один немецкий писатель сам не считает себя классическим и что требования каждого из них к самому себе более строги, чем запутанные претензии Ферсита, восстающего против почтенного общества, которое вовсе не требует, чтобы безусловно восхищались его трудами, но может ожидать, чтобы их ценили по достоинствам. Мы далеки от того, чтобы комментировать плохо продуманный и плохо написанный текст, который мы видим перед собою. Не без досады пробегут наши читатели эти страницы, оценив и наказав это литературное санкулотство, эти невежественные притязания на то, чтобы не только протиснуться в круг достойнейших, но и заступить их место. Я хочу противопоставить этой грубой навязчивости лишь немногое.

Тот, кто считает своим неперемнным долгом соединять определенные понятия со словами, которые он употребляет в разговоре или письме, будет чрезвычайно редко пользоваться выражениями: классический автор, классическое произведение. Когда и где создается классический национальный автор? Тогда, когда он застает в истории своего народа великие события и их последствия в счастье и значительном единстве; когда в образе мыслей своих соотечественников он не видит недостатка в величии, равно как в их чувствах недостатка в глубине, а в их поступках - в силе воли и последовательности; когда сам он, проникнутый национальным духом, чувствует в себе благодаря врожденному гению способность сочувствовать прошедшему и настоящему; когда он застаёт свой народ на высоком уровне культуры и его собственное просвещение ему дается легко; когда он имеет перед собой много собранного материала, совершенных и несовершенных попыток своих предшественников, и когда внешние и внутренние обстоятельства сочетаются так, что ему не приходится дорого платить за свое учение, и уже в лучшие годы своей жизни он может обозреть и построить большое произведение, подчинить его единому замыслу.

Если сравнить эти условия, при наличии которых только и может сложиться классический писатель, особенно прозаик, с теми обстоятельствами, при которых работали лучшие немецкие писатели нашего века, то всякий, кто видит ясно и мыслит справедливо, будет лишь с благоговением изумляться тому, что им все же удалось сделать, а о том, что им не удалось, будет только благопристойно сожалеть.

Значительное произведение, как и значительная речь, - лишь результат житейских обстоятельств; писатель, точно так же как и человек действия, не создает тех условий, среди которых он родился и в которых протекает его деятельность. Каждый, даже величайший гений в некоторых своих произведениях терпит ущерб от своего века и, напротив, при известных обстоятельствах от него выигрывает. Превосходного национального писателя можно ожидать только от стоящей на определенном уровне нации.

Но и немецкой нации не должно быть поставлено в упрек, что географическое положение держит ее в узких рамках, в то время как политический строй раздробляет ее. Не будем призывать тех переворотов, которые дали бы созреть классическому произведению в Германии.

Самое несправедливое порицание, таким образом, то, которое пренебрегает должной точкой зрения. Надо взглянуть на наше положение, каким оно было и осталось; надо принять во внимание индивидуальные условия, в которых развивались немецкие писатели; тогда будет легко найти и точку зрения, в которой нуждаешься при их оценке. Нигде в Германии не существует такой школы жизненного воспитания, где писатели могли бы встречаться и развиваться в едином направлении, в едином духе, каждый в своей области. Родившиеся в разных местах, по-разному воспитанные, по большей части предоставленные лишь самим себе и влиянию совершенно различных условий; увлекаемые пристрастием к тому или иному образцу отечественной или иностранной литературы, принужденные делать всякие опыты и плохонькие работы, для того чтобы без руководства испытать свои силы, лишь постепенно, путем размышления убеждающиеся в том, что надо делать, чтобы позднее узнать на опыте, что делать возможно, вновь и вновь сбиваемые с толку широкой публикой, лишенной всякого вкуса, способной поглощать с одинаковым удовольствием плохое вслед за хорошим, потом, вновь ободренные знакомством с просвещенным, но рассеянным по всем концам великой страны обществом, находящие поддержку у работающих и стремящихся к сходной цели соотечественников, - такой дорогой подходит немецкий писатель к порогу зрелого возраста. А здесь новые заботы о пропитании и о семье заставляют вспомнить о внешнем мире. Часто с печальнейшим чувством должен немецкий писатель себе добывать необходимые средства к существованию работами, которые он и сам не уважает, чтобы такой ценой купить себе право создавать то, чему он единственно хотел бы отдавать свой просвещенный ум. Кто из немецких наиболее уважаемых писателей не узнает себя в этом портрете и кто не признается со скромной печалью, как часто он вздыхал о возможности подчинить особенности своего дарования общей национальной культуре, которой он, к несчастью, не мог обнаружить в окружающем. Ибо воспитание высших классов на образцах иностранной литературы в чужих нравах хотя и принесло нам много пользы, но все же надолго помешало немцу развиваться в качестве немца.

Взглянем теперь на работы немецких поэтов и прозаиков с известными именами! С какой старательностью, с каким благоговением шли они по путям своих просвещенных убеждений. Так, например, не будет преувеличением, если мы станем утверждать, что путем сравнения отдельных изданий Виланда (человека, которым мы можем гордиться, несмотря на ворчание всевозможных смельфонгов) дельный и прилежный литератор мог бы развить целое учение о вкусе. Для этой цели ему надо только подвергнуть разбору последовательные

поправки, которые вносят в свои вещи этот неутомимо работающий над своим совершенствованием писатель.

Каждый внимательный библиотекарь должен был бы позаботиться о составлении собрания его изданий, что пока еще возможно; и люди следующего века сумеют с благодарностью этим воспользоваться.

Быть может, мы решимся впоследствии предложить публике историю развития наших выдающихся писателей, насколько об этом можно судить по их произведениям. Если бы они захотели - хотя мы, впрочем, нимало не претендуем на исповеди - отметить по своему усмотрению моменты, особенно благоприятно содействовавшие их развитию и, напротив, особенно сильно ему воспрепятствовавшие, то польза, и без того ими принесенная, от этого бы только значительно возросла.

Ибо неудачные критики замечают меньше всего, что то счастье, которое теперь благоприятствует талантливым молодым людям и заключается в возможности раньше развиваться и скорее достигнуть чистого, соответствующего предмету стиля, стало мыслимым только благодаря их предшественникам, развивавшимся с такими неутомимыми усилиями, среди разнообразных препятствий и каждый на свой лад - в течение последней половины столетия. Таким образом возникла своего рода невидимая школа, и молодой человек, поступающий в нее теперь, сразу входит в круг гораздо более обширный и более светлый, тогда как прежде писателю приходилось самому пробираться в него при сумрачном свете и лишь постепенно и как бы случайно участвовать в его расширении. Слишком поздно пришел этот полукритик, который хочет осветить нам путь своим фонариком; день наступил, и мы уже не закроем больше ставней.

Дурное настроение в хорошем обществе не принято показывать, а очень не в духе должен быть человек, отказывающийся Германии в хороших писателях в такое время, когда почти каждый пишет хорошо. Не приходится долго искать, чтобы найти приятный роман, удачный рассказ, ясную статью о том или ином предмете. А наши критические журналы, газеты и компендиумы, как часто они дают доказательство общепринятого хорошего стиля. Знание предмета становится у немца все шире и шире, способность же выразить это знание все отчетливее. Достойная философия дает ему полную возможность, вопреки некоторым превратным мнениям, лучше распознать свои силы и тем облегчает их применение. Многочисленные удачные образцы стиля, а также работы и устремления столь многих предшественников дают возможность юноше выразить ясно и сообразно предмету то, что он воспринял от других и переработал в себе. Поэтому бодро настроенный и справедливо судящий немец, видя писателей своей нации стоящими на высокой ступени развития, охотно верит, что и публика не даст себя ввести в заблуждение дурно настроенному хулителю. Так пусть же будет он удален из общества, откуда должен исключаться всякий, разлагающие усилия которого могут внушать уныние действующим, делать творцов нерадивыми, а зрителей недоверчивыми и равнодушными!

ИЗ "ШЕКСПИР И НЕСТЬ ЕМУ КОНЦА"

(1813-1816)

О Шекспире сказано так много, что трудно к этому что-нибудь добавить. Но таково уже свойство духа - держаться в беспрестанном напряжении. На этот раз я хочу рассмотреть Шекспира не только с одной стороны, а сначала как поэта вообще, затем в сравнении с другими поэтами, древними и новейшими, и, наконец, как собственно театрального поэта. Я попытаюсь пояснить, как влияло на нас подражание его манере и какое влияние эта манера вообще способна оказывать. Мое согласие с уже сказанным о нем раньше я дам понять разве тем, что повторю иные старые суждения, несогласие же выражу коротко и позитивно, не вдаваясь в лишние споры и словопрения. Здесь, следовательно, речь будет идти о первом из этих пунктов.

ШЕКСПИР КАК ПОЭТ ВООБЩЕ

Наивысшее, чего может достичь человек, это осознание своих собственных убеждений и мыслей, познание самого себя, которое ведет к познанию духа и мыслей других.

И вот имеются люди с прирожденной естественной склонностью ко всему этому, которые к тому же посредством опыта культивируют эту склонность для практических целей. Отсюда возникает способность извлекать из мира и житейских дел известную пользу - в высшем смысле этого слова. С подобной склонностью рождается и поэт, но он культивирует ее не для непосредственных земных целей, а для высшей, духовной и всеобщей цели. Если мы считаем Шекспира одним из величайших поэтов, мы тем самым признаем, что мало кто познал мир так, как он его познал, мало кто из высказавших свое внутреннее видение сумел в большей степени возвысить читателя до осознания мира. Мир становится для нас совершенно прозрачным, мы внезапно оказываемся поверенными добродетели и порока, величия, мелочности, благородства, низости - и все это благодаря простейшим средствам. Спросим мы об этих средствах, и нам покажется, что Шекспир работает для наших глаз. Но это не так. Произведения Шекспира не для телесных очей. Я попытаюсь пояснить эту мысль.

Пусть зрение считается яснейшим посредствующим чувством. Но внутреннее чувство все же яснее, а наиболее быстро и верно до него доходит слово, ибо только оно по-настоящему плодоносно, в то время как то, что мы воспринимаем зрением, само по себе нам чуждо и не в состоянии так глубоко на нас воздействовать. Шекспир же безусловно вызывает к нашему внутреннему чувству; а оно оживляет мир образов в нашем воображении. Так возникает совершенное воздействие, в котором мы не умеем отдавать себе отчета, ибо здесь-то и кроется начало иллюзии, будто бы все происходит у нас на глазах. Но если точнее разобраться в произведениях Шекспира, то окажется, что в них одушевленное слово преобладает над чувственным действием.

В его пьесах происходит то, что легко себе вообразить, более того, что легче вообразить, чем увидеть. Дух отца в Гамлете, макбетовские ведьмы, многие жестокие видения приобретают силу лишь благодаря нашей фантазии, а разнообразные мелкие промежуточные сцены только на нее и рассчитаны. Все эти вещи в чтении легко и естественно проходят мимо нас, тогда как на сцене кажутся тягостными, мешающими, даже отталкивающими.

Шекспир воздействует живым словом, а оно лучше всего передается в чтении; слушатель не отвлекается удачным или неудачным изображением. Нет наслаждения более возвышенного и чистого, чем, закрыв глаза, слушать, как естественный и верный голос не декламирует, а читает Шекспира. Так лучше всего следить за суровыми нитями, из которых он тклет события. Правда, мы создаем себе по

очертаниям характеров известных образы, но о сокровенном мы все же можем узнать лишь из последовательности слов и речей; и здесь, как кажется, все действующие лица точно сговорились не оставлять нас в неизвестности или в сомнениях. В этом заговоре участвуют герои и простые ратники, господа и рабы, короли и вестники; и в этом смысле второстепенные фигуры подчас проявляют себя даже деятельнее, чем основные персонажи. Все, что веет в воздухе, когда свершаются великие мировые события, все, что в страшные минуты таится в людских сердцах, все, что боязливо замыкается и прячется в душе, - здесь выходит на свет, свободно и непринужденно; мы узнаем правду жизни, и сами не знаем каким образом.

Шекспир приобщается к мировому духу: как и тот, он пронизает мир, от обоих ничего не скрыто. Но если удел мирового духа - хранить тайну до, а иногда и после свершения дела, то назначение поэта - разбалтывать ее до срока или в крайнем случае делать нас ее, поверенными во время деяния. Порочный властелин, человек благомыслящий и ограниченный, увлеченный страстями или холодный наблюдатель, - все они как на ладони преподносят нам свое сердце, часто даже вопреки правдоподобию, каждый словоохотлив и красноречив. Довольно! Тайна должна быть раскрыта, хотя бы камнями пришлось возвестить о ней. Даже неодушевленное здесь спешает на помощь, даже второстепенное соучаствует: стихии, земные, морские и небесные явления, гром и молния, дикие звери поднимают свой голос, порой как бы аллегорически, но всегда как прямые соучастники.

Но и цивилизованный мир должен здесь поступиться своими сокровищами; искусства и науки, ремесла и промыслы - все приносит свои дары. Шекспировские пьесы - это огромная, оживленная ярмарка, и этим богатством он обязан своему отечеству.

Повсюду у него мы видим Англию, омытую морями, затянутую облаками и туманом, несущую свою деятельность во все концы света. Поэт живет в достойное и примечательное время и с большим юмором изображает все, что оно порождало и во что подчас вырождалось. И, быть может, Шекспир на нас бы не действовал так сильно, не поставь он себя на один уровень с жизнью своей эпохи. Никто не относится к материальному костюму с большим пренебрежением, чем он; но ему была отлично знакома внутренняя одежда человека, а перед нею - все равны. Говорят, что он превосходно изображал римлян, я этого не нахожу - все они чистокровные англичане, но, конечно, они люди, люди до мозга костей, а таким под стать и римская тога. Если перенестись на эту точку зрения, то его анахронизмы покажутся достойными всяческих похвал; ибо, пожалуй, как раз погрешности против внешнего костюма и делают его произведения столь жизненными.

Так ограничимся же этими немногими словами, которыми отнюдь не исчерпываются заслуги Шекспира. Его друзья и почитатели сумеют добавить к сему еще многое. Мы же позволим себе здесь еще одно замечание: трудно найти поэта, в каждом отдельном произведении которого заложена своя, через все проходящая идея, как мы это видим в вещах Шекспира.

Так, через всего "Кориолана" проходит идея гнева на то, что народные массы не признают преимущества лучших. Так, в "Цезаре" все сводится к той мысли, что и лучшие люди не хотят допустить, чтобы верховная власть находилась в руках одного человека, ибо ошибочно полагают, что могут действовать сообща. Так, "Антоний и Клеопатра" тысячу языков говорит о том, что наслаждение и дело несовместимы. И в этом смысле при дальнейших исследованиях Шекспира нам пришлось бы все чаще ему удивляться.

ИЗ "СЕРБСКИХ ПЕСЕН"

(1825)

Уже на протяжении довольно долгого времени придается особое значение своеобразным поэтическим творениям разных народов, и тем, в которых отражены судьбы целых наций, великие государственные и династические события, свидетельства единства или раздоров, союзов или войн, и тем, которые привлекают изображением отдельных тихих, домашних, сердечных эпизодов.

Уже почти столетия в Германии этим предметом занимаются серьезно и приязненно, и я не скрываю, что принадлежу к тем, кто стремится и сам неуклонно продолжать такие исследования, основанные на искренней склонности, и старается всячески поощрять их и популяризовать где только возможно; многие стихотворения этого рода я время от времени передавал композитору, которому присущи неподдельно чистые чувства.

Мы охотно признаем, что эти так называемые народные песни становятся особенно распространенными благодаря подкупающим мелодиям, которые текут простыми интонациями, несогласуемыми с правилами упорядоченной музыки, но в большинстве своем обладающими мягкой, нежной тональностью; они располагают душу к сочувствию и приводят нас в то состояние неопределенного общего благорасположения, когда мы, словно бы внимая звукам эоловой арфы, с удовольствием предаемся ласковой усладе и впоследствии всегда опять к ней стремимся.

Но, увидев перед собой наконец тексты этих стихов - рукописные или даже печатные, - мы признаем их ценность лишь в тех случаях, когда они возбуждают дух и рассудок, воображение и память и непосредственно содержательно представляют нам своеобразные особенности породившего их народа; когда они ясно и наглядно показывают нам те места и те обстоятельства и отношения, из которых они возникли.

Поскольку, однако, такие песни в большинстве своем записаны значительно позднее того времени, которому они посвящены, мы требуем, чтобы они были традиционны по своей природе и, видоизменяясь постепенно в соответствии с новыми условиями, сохраняли простоту, свойственную старине; исходя из таких соображений, мы в естественной безыскусной поэзии довольствуемся простыми и, возможно, даже монотонными ритмами.

Из многих разнообразных публикаций такого рода за последнее время мы назовем только новогреческие стихи, среди которых есть и относящиеся к самому недавнему времени; к ним естественно примыкают сербские стихи, хотя и более старинные, но связанные с ними соседскими взаимовлияниями.

При этом следует, однако, учитывать одно важнейшее обстоятельство, которое мы не преминем здесь подчеркнуть: такие народные стихотворения нельзя рассматривать каждое по отдельности, вне общей связи, ибо так менее всего можно их оценить и, уж конечно,

нам невозможно воспринять их действительный смысл. Общечеловеческие черты присущи всем народам, но, проявляясь в чуждом народе, под далеким небом, они не возбуждают настоящей заинтересованности; а самобытные особенности другого народа только отчуждают, кажутся диковинными, часто даже неприятными, как всякое необычное своеобразие, пока мы его не поняли, не сумели усвоить. Поэтому такие стихи нужно рассматривать в большом количестве, лишь так можно воспринять в них богатство и бедность, ограниченность и широту, глубинные источники и поверхностную злободневность - и позволить себе судить о них.

Не будем, однако, задерживаться на общих соображениях предисловия и приступим к делу. Сначала мы хотим говорить о сербских песнях.

Вспомним те времена, когда несчетные народы двигались с востока на запад; они кочевали, оседали, теснили других, сами отступали теснимые, разрушали, строили, изгнанные из завоеванных было краев, снова начинали кочевать.

Сербь и родственные им народности двигались с севера на восток, задержались было в Македонии, но вскоре опять вернулись с полпути собственно в Сербию.

Нужно было бы прежде всего рассмотреть тот край, где с древности жили сербы, однако трудно охарактеризовать его вкратце. Этот край не оставался подолгу неизменным - он то расширялся, то сжимался, дробился и вновь соединялся в зависимости от того, что определяло жизнь нации - внутренние раздоры или внешнее давление.

Во всяком случае, раньше этот край был обширнее, чем теперь, но, желая представить его себе в известной мере конкретно, перенесемся мысленно туда, где Сава вливается в Дунай, где сегодня расположен Белград; если мысленно продвинуться вверх по правому берегу Савы и вниз по Дунаю, мы тем самым проведем северную границу этого края, после чего можно двинуться к югу в горы, оттуда к Адриатическому морю и затем на восток вплоть до Черногории.

Выясняя, кто же были ближние и дальние соседи сербов, обнаруживаем связи с венецианцами, с венграми и некоторыми сменявшимися народами, а прежде всего в ранние эпохи с Греческой империей, которой они то платили дань, то, напротив, получали с нее, то были ее врагами, то помощниками и союзниками; впоследствии такие же переменные отношения создались у сербов с Турецкой империей.

Более поздние пришельцы, полюбив этот придунайский край, воздвигали там на ближних и дальних холмах замки и укрепленные города, чтобы защищать свои владения, и народ постоянно пребывал в воинственном напряжении; государственный строй представляет собой нечто вроде союза князей, довольно непрочно связанный с одним верховным властителем, которому одни подчиняются по приказу, а другие лишь по вежливой просьбе.

Порядок наследования в династиях более и менее крупных деспотов определяется главным образом - либо даже только - древними книгами, которые хранятся у духовенства или в сокровищницах отдельных семей.

Мы убедились, что стихи, приводимые в этой книге, хотя в значительной мере и порождены силой воображения, но основываются все же на определенной исторической почве, их содержание отражает и подлинную действительность; поэтому возникает вопрос: в какой степени можно установить хронологию, то есть к какому времени относятся факты, описанные в стихотворении, а не когда оно возникло? Когда речь идет о песнях, передаваемых изустно, последнее обстоятельство очень трудно выяснить. В старину произошло событие, о нем рассказывали, о нем пели, потом пели по-иному, а когда именно пели впервые, не сообщается.

Историческая последовательность сербских стихов постепенно все же выяснится. Лишь немногие из них говорят о временах до вторжения турок в Европу, то есть до 1355 года, зато многие точно указывают на столицу турецкого императора в Адрианопле, другие посвящены тому времени, когда после завоевания Византии турецкое владычество все более явственно ощущалось соседними народами; к самым последним дням относятся те, в которых изображено мирное сожительство турок и христиан, взаимодействующих в торговле и любовных похождениях.

Сами старинные стихи отличаются при значительном уже уровне культуры проявлениями варварских суеверий; в них встречаются и человеческие жертвоприношения самого отвратительного рода. Так, например, молодую женщину замуровывают в стену при постройке крепости Скутари, это представляется тем более жестоким, так как известно, что на Востоке обычно только освященные картины, подобные талисманам, закладываются в особые тайники фундамента, чтобы обеспечить неприступность крепостей и прочих оборонительных сооружений.

По справедливости надо прежде всего говорить о военных приключениях. Величайшим из героев в стихах выступает Марко; у него обычно довольно натянутые отношения с императором, живущим в Адрианопле, он может служить грубым подобием греческого Геракла и персидского Рустана, но в особом скифском, в высшей мере варварском роде. Он главный из сербских героев, самый непобедимый, беспредельно сильный, неустойчивый в своих желаниях и свершениях. Он ездит на одном коне сто пятьдесят лет подряд, он сам живет до трехсот лет, умирает, сохраняя все свои силы, и сам не знает, как это у него получается.

Самая ранняя эпоха, представленная в стихах, еще совершенно языческая; относящиеся к средней эпохе стихи приобретают христианскую окраску, но это по сути лишь окраска церковности. Добрые дела - единственное утешение тому, кто не может себе простить великие злодеяния. Вся нация одержима поэтическим суеверием; многие события происходят при участии ангелов, зато нет ни следа сатаны; большую роль играют возвращающиеся мертвецы; самых отважных людей пугают зловещие предчувствия, предсказания, дурные приметы в полете птиц.

Но во всем и над всем властвует своеобразное безрассудное божество. Это некая всевластная неотвратимая роковая сила, - она обитает в одиночестве, в горах и лесах, возвещает свои повеления и прорицания мелодическими звуками и голосом, ее зовут Вила, она похожа на сову, но часто появляется в образе женщины, прославлена как прекрасная охотница, почитается даже как собирательница туч; однако с наидревнейших пор она, как и все то, что называют судьбой, которую нельзя призвать к ответу, творит больше зла, чем добра.

В среднюю эпоху значительное место занимает борьба против турок; они все больше преобладают, а после битвы при Амзельфельде в 1389 году, проигранной сербами из-за предательства, начинается полное порабощение народа. Сохранились поэтические памятники боев, которые в новейшее время вел Георгий Черный; к ним непосредственно примыкают горестные воздыхания сулитов, хотя они и написаны по-гречески, но выражают дух, присущий всем злополучным промежуточным нациям, которые не могут создать себя собственными внутренними силами и не могут противостоять мощным соседям.

Любовные песни могут быть по-настоящему восприняты и оценены также не по отдельности, а только в общей совокупности; они отличаются величайшей красотой и возглашают прежде всего совершенно безоглядное слияние двух любящих, которым ничего на свете не нужно, кроме их любви; вместе с тем они духовно богаты, изящно шутивы; остроумные излияния то его, то ее неожиданны и доставляют наслаждение; преодолевая препятствия, стремясь к обладанию желанным счастьем, любящие становятся остроумны и отважны; а жестокою боль неотвратимой разлуки уголяют надежды на свидание за гробом.

[...]

Особенно трудно изложить в немногих словах то, что необходимо знать о языке этих стихов. Славянский язык делится на два главных наречия: северное и южное. К северному относятся русское, польское и богемское, а на южном говорят словенцы, болгары и сербы.

Таким образом, сербское наречие есть один из видов южнославянского, оно живет в устах пяти миллионов человек и вправе считаться наиболее сильным из всех южнославянских наречий.

Однако о его достоинствах ведется спор внутри самой нации; друг другу противостоят две партии.

Сербы обладают старинным переводом Библии; в IX веке она была переведена на родственный сербскому старопаннонский диалект. Именно его теперь считают основой и образцом языка духовенства и все, кто посвящает себя наукам; они пользуются этим диалектом в речах, в литературе, в деловой переписке, всячески поощряют его применение; поэтому они отдаляются от языка, на котором говорит народ, бранят его, называют выродившимся, испорченным отклонением от того исконного закономерного языка.

Но если внимательней присмотреться к языку народа, то он предстает в своем изначальном самобытном своеобразии, в самой основе чуждым книжному диалекту, сам по себе живой и способный выразить все виды и формы деятельности, равно как и поэтическое творчество. Именно на этом языке созданы стихи, которые мы здесь хвалим; но поэтому ими пренебрегает знатная часть нации и поэтому их никогда не записывали и всего менее печатали. Так создавались трудности, из-за которых эти стихи были недоступны, трудности, в течение многих лет считавшиеся непреодолимыми, и только сегодня, когда они устранены, стали очевидны их причины.

Говоря о своем отношении к этой литературе, я должен прежде всего сказать, что, несмотря на многие благоприятные обстоятельства, я не усвоил и никогда не учил ни одного из славянских наречий, поэтому я совершенно незнаком с оригинальной литературой этих великих народов, что не препятствовало мне высоко оценивать их поэтические произведения, с которыми я мог познакомиться.

Пятьдесят лет тому назад я перевел песню-плач благородной жены Хасан-Аги, текст которой нашел в путевых очерках аббата Форти, откуда он позаимствован графиней Розенберг для ее Морлакских очерков. Я перевел эту песню с французского подстрочника, интуитивно угадывая ритм и учитывая порядок слов подлинника. После этого я получил довольно много стихотворений на всех славянских языках, которые мне присылали, отвечая на оживленные запросы; но я видел их тогда лишь поодиночке и не мог получить общего представления об их главных отличиях, не мог разделить их по характерным признакам.

Сербские стихи было особенно трудно достать по изложенным выше причинам. Они не были записаны, их исполняли устно в сопровождении простого струнного инструмента, называемого гузла, и сохранились они только в низших слоях нации. Однажды произошел такой случай: в Вене попросили нескольких сербов продиктовать их песни, но они отказались, - эти добрые простые люди не могли себе представить, что можно в какой-то мере ценить их безыскусные песни, презираемые образованными людьми у них на родине. Они даже опасались, что их народные песни станут пренебрежительно сравнивать с произведениями высокоразвитой немецкой поэзии, для того чтобы насмешливо-издевательски доказывать, насколько отстала их нация.

Их переубедило и доказало им серьезность наших намерений внимание, с каким немцы относились к той песне-плачу, о которой говорилось выше; благодаря этому, а также общим доброжелательным отношениям удалось получить от них давно желанные тексты, хотя сперва лишь поодиночке.

Но все это не имело бы серьезных последствий, если бы не явился замечательный человек по имени Вук Стефанович Караджич, родившийся в 1787 году и воспитанный на рубеже Сербии и Боснии; с юных лет познал он свой родной язык, который в деревнях значительно более чист, чем в городах, и полюбил свою народную поэзию. Он с величайшей серьезностью стал изучать эти предметы, издал в 1814 году в Вене сербскую грамматику и одновременно сборник сербских народных песен, числом сто. Тогда же я получил этот сборник с немецкими подстрочными переводами и увидел наконец подлинник той траурной песни. Однако хотя я очень высоко ценил этот дар и очень ему радовался, но в то время я еще не мог составить себе о нем полное общее представление.

В ту пору на Западе сложилась очень сложная запутанная обстановка, и развитие сулило новые осложнения; я искал убежища на Востоке и жил некоторое время в счастливой отрешенности от Запада и от Севера.

Но в последнее время эта постепенно созревшая тема стала все более проясняться. Господин Вук прибыл в Лейпциг и там опубликовал в издательстве Брайткопф - Херцелин три тома песен, о содержании которых говорилось выше, а затем в дополнение к ним грамматику и словарь, чем значительно облегчил знатокам и любителям доступ к ним.

Пребывание этого замечательного человека в Германии привело его в соприкосновение с некоторыми превосходными людьми. Библиотекарь Гримм в Касселе, обладавший сноровкой знатока многих языков, усвоил также и сербский, он перевел грамматику Вука и снабдил ее предисловием, которое легло в основу наших приведенных выше сообщений. Ему же обязаны мы переводами, которые

передают национальное своеобразие содержания и ритма этих стихов.

Профессор Фатер, углубленный и добросовестный исследователь, также принял серьезное участие в изучении этого предмета, и вот то, что до сих пор оставалось чужим и даже в известной мере отпугивало, теперь все более к нам приближалось.

При таком положении вещей особенно радостным было появление женщины, обладающей замечательными способностями и талантами, которая благодаря прежнему жительству в России была несколько знакома со славянскими языками, по склонности решила заниматься сербским, посвятила серьезнейшую деятельность сокровищнице песен и своими ценными свершениями положила конец долголетним проволочкам (Тереза Альбертина Луиза фон Якоб, прозванная Талфя). Без каких-либо внешних побуждений, по внутренней склонности и выбору она перевела большое число предлагаемых ныне читателям стихотворений, которые будут собраны в одном томе октавного формата в количестве, достаточном для того, чтобы познакомиться с этим прекрасным родом поэзии.

В предисловии к этому тому будет более точно и обстоятельно изложено то, что здесь высказано предварительно, чтобы содействовать настоящему интересу к столь достопримечательному новому явлению литературы.

Немецкий язык особенно пригоден для этого, он легко воспроизводит любые наречия, поступает при этом собственным своеобразием и не боится упреков в необычности или недопустимости тех или иных оборотов; он умеет находить такие слова, словосочетания, словообразования, выражения и прочие средства грамматики и риторики, что если бы они применялись авторами для собственных произведений, то их могли бы упрекнуть в необычайной дерзости, но в переводах они могут быть оправданы стремлением приблизиться к подлиннику.

А ведь это отнюдь не мелочь, когда язык обладает такими свойствами. Мы считаем в высшей мере достохвальным, когда другие народы усваивают от нас то, что мы создали своеобразного в своих пределах, однако не меньшее значение имеет и то, когда иноземцы через нас познают произведения других народов. Если нам и впредь удастся достигать таких свободных от аффектации приближений в переводах, то вскоре иноземцы будут обращаться к нам в поисках товаров, которые трудно получить из первых рук.

Возвращаясь теперь от самых общих рассуждений к самым конкретным, мы вправе уверенно утверждать, что сербские песни особенно хорошо выглядят на немецком языке. Мы убедились в этом на многих примерах. Вук Стефанович по нашей просьбе перевел многие из песен дословно. Гримм, следуя своему методу, стремился передать размер, строго блюдя число слогов. Фатеру мы благодарны за то, что он прозаическими переводами отрывков из песни о свадьбе Максима Черноевича приблизил нам это важнейшее стихотворение, а быстрая непосредственно воздействующая помощь нашей любезной приятельницы позволила нам получить то общее целостное представление, которое, как мы надеемся, уже скоро станет достоянием всех читателей.

КОРОТКИЕ СООБЩЕНИЯ

(1826)

Ввиду того что этот выпуск запоздал, я оказался в большом долгу перед читателями, которые лишились нескольких приятных известий. В заключение привожу нижеследующее предварительное сообщение.

Немецкая поэтическая литература получила три прекрасных дара, которые я хотел бы последовательно охарактеризовать как великий, прелестный и весьма достойный:

Сербские песни в переводах Талфя, часть вторая,

Латышские песни, собранные Реза,

“Фритьоф”, перевод с шведского Амалии фон Хельвич.

Мы все больше достигаем понимания того, что можно называть народной и национальной поэзией. Ведь в действительности существует одна поэзия настоящая, которая не принадлежит ни простонародью, ни дворянству, ни королю, ни крестьянину; каждый, кто ее творит, чувствует себя настоящим человеком; она неудержимо пробивается и в простом, даже грубом народе, но она свойственна и просвещенным, даже высокопросвещенным нациям. Поэтому нашим главным старанием остается всякий раз достигать наиболее общей точки зрения, чтобы распознавать поэтический талант во всех проявлениях и замечать, как его извивы пронизывают историю человечества, образуя неотделимую часть этой истории.

ДАНТЕ

(1826)

При оценке выдающихся качеств души и духовной одаренности Данте мы тем справедливее воздадим ему должное, если не будем терять из виду, что в его время жил также и Джотто и что тогда же проявилось во всей своей природной мощи изобразительное искусство. Этот могучий, обращенный к чувственно-пластическому видению гений владел и нашим великим поэтом. Он так ясно охватывал предметы оком своего воображения, что свободно мог их потом воссоздавать, закрывая их в четкие контуры; вот почему все, даже самое странное и дикое, кажется нам у него списанным с натуры. Данте никогда не стесняет третья рифма - напротив, она помогает ему в достижении намеченной цели, способствуя созданию завершенных образов. Переводчик, обычно следовал за ним и в этом направлении. Он представлял себе все, созданное поэтом, и затем старался воссоздать это на своем родном языке своими рифмами. И если я все же чувствую известную неудовлетворенность, то в этом виновен сам Данте.

Все пространственное построение Дантова ада имеет в себе нечто микромегическое, а потому смущающее наши чувства. Мы должны представить себе ряд уменьшающихся кругов, идущих сверху вниз, до самой пропасти; это сразу заставляет нас вспомнить об амфитеатре, который при всей его грандиозности должен казаться нашему воображению все же чем-то художественно ограниченным,

Так как, созерцая его сверху, вполне возможно увидеть его целиком, вплоть до самой арены. Стоит только взглянуть на картины Орканьи - и нам покажется, будто перед нами перевернутая картина Небеса - воронка вместо конуса. Этот образ более риторичен, чем поэтичен, воображение им возбуждено, но не удовлетворено.

Однако, не желая безусловно превозносить целого, мы тем более поражаемся удивительному разнообразию частных, которые смущают нас и требуют почитания. Здесь мы можем отозваться с одинаковой похвалой и о строгих, отчетливо выписанных сценических перспективах, которые шаг за шагом заступают дорогу нашему глазу, и о пластических пропорциях и сочетаниях, и о действующих лицах, их наказаниях и муках.

В качестве примера мы приведем здесь следующее место из двенадцатой песни:

“Вкруг нас обломки диких скал теснились,
Нас хаос страшный тьмою вдруг объял,
Ты помнишь - горы мрачные валились
В долину, где Одиджи светлый вал
Струился вдаль, - землетрясенье ль было,
Подземный взрыв, - никто нам не сказал.
Обломков гряда дикий склон покрыла;
Кругом лишь камни; робко я глядел
На взрог скалы, лишь на нее ступила
Нога моя, и страх мной овладел...
Так шли мы дальше - всюду, всюду скалы,
Все колебались камни подо мной,
Я еле шел, от трепета усталый,
И он сказал: “Откуда ужас твой?
Весь этот хаос ныне крепко скован
Безумной силой, вечный пленник мой...
Услышь меня! Когда я, зачарован
Извечной тьмой, во адский мрак сходил,
Был этот мир навеки злобой скован,
Когда ж с небес победно тот вступил,
Что восхотел великий круг мучений
Себе отторгнуть, огонь его палил,
Ужасный гул великих сотрясений
Раздался тут - казалось мне, что вновь
Родится мир и что в огне молений
Расплавит зло предвечная любовь.
Тогда все скалы рухнули - в осколки,
В минувший хаос обратятся вновь”.

Перевод Д. Мина.

Прежде всего я здесь должен объяснить следующее. Хотя в моем оригинальном издании Данте (Венеция, 1739) место (от e quel do schivo**) разъясняется как намек на Минотавра, я тем не менее отношу его только к изображению местности. Она была гориста, загромождена скалами (alpestro), но всех этих слов еще недостаточно для поэта: ее своеобразие (per quel ch'iv'er' anco) было столь

ужасным, что одинаково смущало и зрение и сердце. Поэтому, желая дать хотя бы некоторое удовлетворение себе и другим, Данте здесь упоминает не ради сравнения, а для зрительного примера о грозном обвале, который, как надо думать, преграждал в пору его жизни путь из Триента в Верону. Там в те времена еще лежали громадные каменные плиты и угловатые осколки недавнего обвала. Еще не выветрившиеся временем, не слившиеся в общую массу, перевитую легкими побегами, они громоздились друг на друга, словно чудовищные рычаги, и легко начинали дрожать от любого прикосновения ноги человеческой. Но поэт хочет бесконечно превзойти это явление природы. Он нуждается в сошествии Христа в преисподнюю, чтобы сыскать должное объяснение не только этому обвалу, но и многому другому в сатанинском царстве.

Что (итал.).

* Вновь (итал.).

Странники подходят к дугообразному кровавому рву, по плоскому, столь же изогнутому берегу которого рыщут взад и вперед тысячи кентавров, неся свою дикую сторожевую службу. Вергилий, вышедший на равнину, уже достаточно близко подошел к Харону, тогда как Данте неверными шагами все еще пробирается между скал. Но мы еще раз должны взглянуть в эту бездну, ибо Кентавр говорит своему сотоварищу:

“Взгляни, как тот, что сзади там идет,

Колелет все, к чему ни прикоснется,

И тенью не скользит, как мертвых род”.

Спросим свое воображение, разве не ожил в нашей душе этот чудовищный горный обвал?

Но и в остальных песнях, на фоне других декораций, можно найти и указать на такую же устойчивость образов и четкость письма, при соблюдении тех же условий.

Такие параллели знакомят нас лучше всего с характерными особенностями творчества Данте. Различие между живым Данте и умершими бросается в глаза и в других местах. Так, например, души, обитающие в Чистилище (Purgatorio), приходят в ужас при встрече с Данте, ибо он отбрасывает от себя тень, по которой они распознают его телесность.

“GERMAN ROMANCE”

VOLUMES IV. EDINBURGH, 1827 (BY CARLYLE)*

(1828)

[Карлейль], Немецкая романтика. Четыре тома. Эдинбург, 1827 (англ).

Чтобы передать смысл этого заглавия по-немецки, мы должны были бы, в сущности, сказать: образцы романтического, а также сказочного жанра, выбранные из произведений немецких писателей, выдвинувшихся в этой области. Собрание содержит пересказанные непринужденным изящным языком мелкие и более крупные рассказы Музеуса, Тика, Гофмана, Жан Поль Рихтера и Гете. Достойны внимания предпосланные каждому автору заметки, которые, как и шиллеровская биография, заслуживают всяческих похвал. Нам хотелось бы рекомендовать их нашим газетам и журналам для перевода и опубликования, если это только уже не сделано без нашего ведома.

Биографические события и обстоятельства представлены в них с достаточной тщательностью и дают необходимые предварительные сведения об индивидуальном характере каждого писателя, а также о том, как сказался этот характер в его писаниях. Г-н Карлейль высказывает здесь, как ранее в биографии Шиллера, спокойное, ясное, искреннее сочувствие немецким поэтическим и литературным начинаниям; он вникает в своеобразие стремлений нашей нации и, всем отдавая должное, каждому отводит определенное место, этим в известной мере сглаживая те конфликты, которые неизбежны в литературной жизни любого народа. Ибо жить и действовать означает становиться на чью-либо сторону или привлекать на свою. Нельзя осуждать того, кто борется за определенное место и положение в мире, которое бы ему обеспечивало известный достаток и позволяло бы влиять на современность, что уже указывает на возможность значения человека и для грядущих веков. И если из-за этой литературной распри горизонт национальной литературы часто на долгие годы омрачается, то чужеземец, давая осесть этой пыли, туману и дыму, видит перед собой далекие сферы проясненными, видит с тем душевным спокойствием, с каким мы созерцаем месяц в тихую ясную ночь.

Здесь мне хотелось бы вставить несколько давно записанных размышлений. Пусть даже скажут, что я повторяюсь, лишь бы одновременно признавали, что и повторения бывают порой полезны.

Известно, что лучшие поэты и теоретики искусства всех народов вот уже на протяжении долгого времени стремятся к общечеловеческому. В каждом явлении, будь оно историческим, мифологическим, сказочным или даже просто вымышленным, сквозь национальное и личное проступает и просвечивает это всеобщее.

То же самое имеет место и в ходе практической жизни. Оно пробивается сквозь все грубо-земное, дикое, жестокое, несправедливое, корыстное и глупое, стремясь все это залить смягчающим светом. Пусть на земле никогда не наступит всеобщий мир, мы не перестанем надеяться, что со временем неизбежные распри станут мягче, война менее жестокой, победа менее надменной.

Все, что в литературе отдельной нации может повлиять и напомнить об этом, должно быть усвоено всеми.

Нужно узнать особенности каждой нации, чтобы примириться с ними, вернее, чтобы именно на этой почве с нею общаться; ибо отличительные свойства нации подобны ее языку и монетам, они облегчают общение, более того, они только и делают его возможным.

Поистине всеобщая терпимость будет достигнута лишь тогда, когда мы дадим возможность каждому отдельному человеку или целому народу сохранить свои особенности, с тем, однако, чтобы он помнил, что отличительной чертой истинных достоинств является их причастность всечеловеческому.

Такому посредничеству и взаимному признанию немцы способствуют уже с давних пор. Тот, кто понимает и изучает немецкий язык, находится на ярмарке, где все народы предлагают свои товары; он играет роль толмача, обогащая при этом себя самого.

Поэтому каждого переводчика следует считать посредником этого всеобщего душевного торга, способствующим такому взаимному обмену. Ибо, что бы ни говорилось о неудовлетворительности переводческого труда, он всегда был и будет одним из важнейших и достойнейших дел, связующих воедино вселенную.

Коран говорит: “Бог дал каждому народу пророка, говорящего на его собственном языке”. Так и каждый переводчик - пророк в своем отечестве. Лютеровский перевод Библии вызвал величайшие последствия, хотя критика и по сей день умаляет и хулит его. А все огромное дело библейского общества - в чем его ценность, если не в том, что благодаря ему каждому народу вручается Евангелие, переложенное на его лад и язык?

“FAUST”. TRAGEDIE

DE Mr. DE GOETHE

(1828)

* “Фауст”. Трагедия Гете (франц.).

Видя перед собой роскошное издание французского перевода моего “Фауста”, я вспоминал те времена, когда это произведение было задумано, сочинено и с весьма своеобразными чувствами записано. Успех, который оно встретило и в ближних и в дальних краях, выраженный теперь еще и в этом типографском совершенстве, объясняется, пожалуй, той редкой особенностью, что в нем навсегда запечатлен определенный период развития человеческого духа, мучимого тем же, что мучит, и волнуемого тем же, что тревожит все человечество; его тяготит то же, что отвратительно человечеству, и воодушевляет его, что ему желанно. Все обстоятельства истории этой драмы теперь уже очень далеки от автора, да и в мире сегодня идут совсем иные битвы; но все же состояние человека и в радости и в горе остается в большинстве случаев без особых перемен, и рожденный в самые последние дни всегда найдет причину, чтобы оглянуться на радости и на страдания давно прошедших времен, чтобы хоть как-то приспособиться к тому, что еще ждет его самого.

Хотя эта драматическая поэма, по сути, возникает из сумрачной стихии и разыгрывается в многообразной, но исполненной страхов обстановке, однако французский язык, который всему придает веселую легкость, облегчает созерцание и понимание, делает ее значительно более ясной и обозримой. И теперь, смотря на эту крупноформатную (in folio) книгу, на бумагу, шрифты, печать, переплет - все это доведено до полного совершенства, - я уже не испытываю того впечатления, которое эта драма раньше производила на меня каждый раз, когда я после долгого перерыва снова брал ее в руки, чтобы убедиться, сохраняет ли она свои особенности.

Однако тем более замечательно, что художник настолько сблизился с этим произведением в том его первоначальном духе, что именно так воспринял все его сумрачные исходные особенности, и беспокойно стремительного героя сопровождает столь же беспокойный карандаш.

Господин Делакруа - живописец, наделенный бесспорным талантом, но, как это часто бывает в отношении молодежи к нам, старикам, - он доставляет немало хлопот парижским друзьям и знатокам искусства, потому что они не могут ни отрицать его достоинств, ни одобрять его в известной мере буйного стиля. Однако господин Делакруа, видимо, чувствует себя как дома в этом диковинном произведении, между небом и землей, между возможным и невозможным, между самым грубым и самым нежным, между всеми противоречиями; куда бы только ни завела дерзновенная игра фантазии - он везде “у себя”. Тем самым снова приглушается блеск внешнего великолепия, дух уводится от ясной буквы в сумрачный мир и вновь возбуждается древнее ощущение сказочного повествования. Мы не решаемся больше ничего говорить, предполагая, что каждый, кто увидит эти значительные произведения, испытает чувства, более или менее подобные нашим...

ИЗ “ОБЩИХ РАЗМЫШЛЕНИЙ

О МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ”

(1827-1830)

Если в ближайшем будущем появится такая мировая литература, возникновение которой неизбежно при все возрастающей скорости средств сообщения и связи, мы не должны ожидать от нее ничего большего и ничего иного сверх того, что она может осуществить и осуществит.

Обширный мир, как бы далеко он ни простирался, - всегда лишь расширенное отечество, и, если внимательней присмотреться, он не даст нам ничего сверх того, что давала почва родины; все, что нравится массам, будет беспредельно распространяться и, как мы видим уже сейчас, будет находить сбыт во всех краях и местностях. Но серьезным и внутренне значительным творениям это удастся не сразу. И все же те, кто посвящает себя высоким целям, кто возвышенно творит, будут быстрее и лучше узнавать друг друга. Везде в мире есть люди, озабоченные тем, чтобы сохранилось то, что было создано ранее, чтобы, исходя из него, шло действительно поступательное движение человечества. Но путь, который избирают такие люди, и шаг, которым они идут, доступны не всем. Люди, только потребляющие жизнь, хотят продвигаться побыстрее и поэтому отвергают и задерживают продвижение того, что могло бы их самих продвинуть вперед. Серьезным людям следовало бы объединиться, образуя тихое, почти потаенное братство, ибо тщетно было бы противостоять широкому потоку злободневности; однако необходимо стойко удерживать свои позиции, пока этот поток не спадет, не минует.

Главным утешением и наиболее действенным одобрением для таких мужей должно быть сознание, что истинное вместе с тем и полезно; когда они сами откроют эту закономерность и живо представят и докажут ее влияние, тогда они смогут и достаточно сильно воздействовать на мир в течение многих лет.

Хотя во многих случаях бывает благотворно не столько сообщать читателю уже продуманные мысли, сколько пробуждать и возбуждать его собственное мышление, все же, пожалуй, благотворным будет вновь обратиться к приведенному выше замечанию, которое было записано уже давно.

Вопрос: полезно ли то или иное занятие, которому себя посвящает человек, повторяется очень часто, и особенно решительно задается теперь, когда уже никому не позволено жить спокойно, довольствуясь тем, что имеет, умеренно и ничего не требуя.

Мир вокруг нас пришел в такое бурное движение, что каждому грозит быть унесенным, затянутым в водоворот. Человек видит: для того чтобы он мог удовлетворять свои потребности, он вынужден заботиться о потребностях других людей, заботиться непосредственно и незамедлительно; тогда-то и возникает вопрос, что же он умеет, чем он может обеспечить исполнение своего настоящего долга.

И тогда не остается ничего другого, как сказать самим себе: нас может спасти только чистейший и строжайший эгоизм; и это должно быть ясно осознанной, хорошо прочувствованной и спокойно высказанной решимостью.

Человек должен спросить сам себя: к чему он наиболее пригоден. И для того чтобы в соответствии с этим наилучшим образом воспитать себя, он должен смотреть на себя как на ученика, на подмастерья, на старшего подмастерья и уже после всего и лишь очень осторожно - как на мастера.

Если он сумеет, блюдя осмотрительную скромность, повышать свои требования к миру только по мере роста своих способностей, с тем чтобы, принося ему пользу, добиваться благосклонности мира, - тогда он постепенно, шаг за шагом достигнет своей цели, и, если ему даже удастся наивысшее свершение, он все же сможет действовать вполне спокойно.

Если он будет достаточно внимателен, то сама жизнь его этому научит посредством тех ободрений, которые дарит эмпирический мир, и тех помех, которые он ставит на пути; но одно должен постоянно помнить настоящий человек: если изнурять себя ради сегодняшних благ, то это не принесет пользы ни завтра, ни послезавтра.

Веймар, 30 марта 1830 г.

Для нас имеет важнейшее значение не только, что именно такие мужи говорят о нас, но мы должны учитывать то, как они относятся к другим нациям, к французам и итальянцам. Потому что лишь из этого может наконец возникнуть всеобщая мировая литература, - из того, что все нации узнают, каковы отношения всех ко всем, и тогда каждая из них найдет у каждой другой и нечто приемлемое и нечто отвергаемое, такое, чему следует подражать, и такое, чего нужно избегать.

Это в свою очередь будет весьма действенно благоприятствовать все более расширяющейся промышленности и торговле; потому что, когда лучше знают взгляды друг друга - и тем более если взгляды совпадают, - из этого быстрее возникает надежное доверие. А в иных случаях, когда мы в обычной жизни вынуждены иметь дело с лицами совершенно инакомыслящими, мы, с одной стороны, становимся осторожнее, но зато, с другой стороны, приучаемся быть терпимее и уступчивее.

Веймар, 5 апреля 1830 г.

БЛАГОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ ОТВЕТ

(1832)

Как часто присылают мне молодые люди немецкие стихотворения с просьбой не только оценить их, но и высказать свое мнение относительно поэтического дарования автора. Я дорожу этим доверием, но в отдельных случаях все же становится невозможным дать должный ответ в письменной форме, когда порою затруднителен и устный. Но так как все эти послания до известной степени друг друга повторяют, я решаюсь сказать здесь кое-что на будущее.

Немецкий язык достиг столь высокой степени развития, что каждому дана в руки возможность как в прозе, так и с помощью ритма и рифм по мере своих сил отыскивать удачные выражения, соответствующие предмету и его восприятию. А отсюда следует, что каждый более или менее образованный человек, наслышанный и начитанный, а потому в какой-то мере себя познавший, тотчас же чувствует стремление с известной легкостью выражать свои мысли и суждения, знание и чувства.

Но трудно и даже невозможно юноше понять, что в высшем смысле этим сделано еще мало. Если строже взглянуть в такие произведения, видишь, что все происходящее внутри человека и все, что его непосредственно касается, выходит более или менее удачно, а кое-что даже до такой степени, что кажется выраженным столь же глубоко, сколь и ясно, столь же уверенно, сколь и изящно. Вселенная, высшее существо и родина, безграничная природа и ее отдельные неоценимые явления порою прямо поражают нас в отдельных стихотворениях молодых людей, и мы не вправе недооценивать и их нравственного значения и не можем не признавать достойным всяческих похвал и их выполнение.

Но здесь-то как раз и заключается сомнительное: многие, идущие одной дорогой, соединяются для совместного веселого странствия без того, чтобы проверить: не слишком ли далеко в небесах находится их цель?

И, к сожалению, благожелательный наблюдатель слишком скоро замечает, что внутреннее юношеское довольство внезапно уменьшается и этот чистый источник омрачают печаль об ушедших радостях, тоска по утраченному, томление по неизведанному, недостижимому, мрачность, проклятия, которыми клеймятся любые препятствия, борьба с недоброжелательством, завистью и преследованием; компания рассеивается, и веселые спутники превращаются в мизантропических отшельников.

Как трудно поэтому разьяснить таланту любого толка и масштаба, что муза, правда, охотно сопутствует жизни, но нисколько не может ею руководить. Если при вступлении в деятельную и бодрящую, но подчас и безрадостную жизнь, перед лицом которой мы все, кто бы мы ни были, должны чувствовать свою зависимость от великого целого, вдруг начнем требовать назад все наши былые мечты, желания и надежды, весь уют старых сказок - муза удалится и будет отыскивать другого человека, способного на радостное самоотречение и легко восстанавливающего свое душевное равновесие, человека, который умеет радоваться любому времени года и не оспаривает прав у зимнего катка и у цветущего розового сада, смиряет свои страдания и всячески хлопочет о том, чтобы рассеять вокруг себя печаль и поддержать веселье.

И тогда годы не отдалят его от прекрасных богинь, которые, радуясь смущающейся невинности, не менее охотно покровительствуют и предусмотрительному уму; там поощряют ростки обнадеживающих начинаний, здесь восхищаются совершенством - во всей полноте его развития. Итак, да будет мне дозволено закончить это сердечное излияние рифмованной сентенцией:

“Юный друг, пусть каждый знает,

Кто в высокий мир проник:

Муза нас сопровождает,

Но она не проводник”.

ИЗ “МАКСИМОВ И РЕФЛЕКСИЙ”

(1822-1832)

Доподлинный посредник - искусство. Говорить об искусстве значит посредничать посреднику; и все же за таким занятием мы обретаем немало ценного.

Некоторые книги, по-видимому, написаны не для того, чтобы из них чему-нибудь научались, а чтобы пустить по свету молву, что и автор кое-чему научился.

Глубочайшее уважение, которое автор может оказать своим читателям, это - создавать не то, что от него ждут, а то, что он сам считает правильным и полезным на данной ступени своего и чужого развития.

Кто не знает иностранных языков, не знает ничего и о своем.

Так называемые поэты-самородки - это свежие, вновь пробудившиеся таланты, - отщепенцы эпохи застойного, манерного и перемудрившего искусства. Избегать пошлости они не умеют, а потому их часто считают поэтами регрессивными, но они все же - подлинные возродители, дающие толчок к новым достижениям.

Лирика - в целом - должна быть весьма разумной, в частности же немного простоватой.

Роман - это субъективная эпопея, в которой автор испрашивает дозволения на свой лад перетолковывать мир. А стало быть, весь вопрос в том, обладает ли он своим собственным ладом. Остальное приложится.

От критики нельзя ни спастись, ни оборониться; нужно поступать ей назло, и мало-помалу она с этим свыкнется.

В ритме есть нечто волшебное; он заставляет нас верить, что возвышенное принадлежит нам.

Произведения Шекспира изобилуют диковинными тропами, которые возникли из персонифицированных понятий и нам были бы совсем не к лицу; у него же они вполне уместны, ибо в те времена все искусства были подвластны аллегории. Он находит метафоры там, где мы бы их и не искали, например - в книге. Искусство печатания существовало уже более ста лет, но, несмотря на это, книга еще являлась чем-то священным, в чем мы можем легко убедиться, судя по тогдашним переплетам. Благородный поэт любил и почитал ее; мы же теперь брошюруем решительно все, и нам уже нелегко отнестись с уважением как к переплету, так и к его содержимому.

Наиболее вздорное из всех заблуждений - когда молодые одаренные люди воображают, что утратят оригинальность, признав правильным то, что уже было признано другим.

Как мало из свершившегося было записано, как мало из записанного спасено! Литература с самого начала своего существования - фрагментарна, она хранит памятники человеческого духа только в той мере, в какой они были запечатлены письменами и в какой эти письмена сохранились.

Наши отношения с Шиллером основывались на решительном устремлении обоих к единой цели, наша совместная деятельность - на различии средств, которыми мы старались ее достигнуть. Во время небольшой размолвки, которая однажды между нами возникла и о которой мне напомнило одно место из нашей переписки, я сделал следующие наблюдения.

Далеко не одно и то же, подыскивает ли поэт для выражения всеобщего особенное или же в особенном видит всеобщее. Первый путь приводит к аллегориям, в которых особенное имеет значение только примера, только образца всеобщего, последний же и составляет подлинную природу поэзии; поэзия называет особенное, не думая о всеобщем и на него не указуя. Но кто живо воспримет изображенное ею особенное, приобретет вместе с ним и всеобщее, вовсе того не сознавая или осознав это только позднее.

Хронику пусть пишет только тот, кому важна современность.

Переводчики - это хлопотливые сводники, всячески выхваляющие нам полускрытую вуалью красавицу; они возбуждают необоримое стремление к оригиналу.

Древний мир мы охотно ставим выше себя, грядущий же - никогда. Только отец не завидует таланту сына.

Мы, в сущности, учимся только из тех книг, о которых не в состоянии судить. Автору книги, судить о которой мы можем, следовало бы учиться у нас.

Искусство - дело серьезное, особенно серьезное, когда оно занимается объектами благородными и возвышенными; художник же стоит над искусством и над объектом; над первым - ибо пользуется им как средством, над вторым - ибо на свой лад трактует его.

Искусство само по себе благородно. Поэтому художник не страшится низменного. Принимая его под свой покров, он его уже облагораживает. И мы видим величайших художников, смело прибегающих к этой прерогативе монарха.

В каждом художнике заложен росток дерзновения, без которого немислим ни один талант. И росток этот оживает особенно часто, когда человека одаренного хотят ограничить, задобрить и заставить служить односторонним целям.

Рафаэль среди художников новейшего времени и в этом отношении самый чистый. Он вполне наивен. Действительность у него не вступает в конфликт с нравственностью или, более того, с божественным началом. Ковер, на котором изображено поклонение волхвов, - это избыточно-великолепная композиция, открывающая целый мир, начиная от старшего коленопреклоненного волхва до мавра и обезьянки, которые, сидя на верблюде, лакомятся яблоками. Здесь и святой Иосиф изображен совершенно наивно, как приемный отец, радующийся принесенным дарам.

Вообще же против святого Иосифа художники злоумышляли немало. Изображают же его и византийцы, которые отнюдь не обладают излишним юмором, досадующим на рождение Христа. Младенец лежит в яслях, звери заглядывают туда, изумленные, что вместо своей сухой пищи видят божественно прелестное создание. Ангелы славят новорожденного, мать неподвижно сидит возле него, святой же Иосиф стоит в отдалении, недовольно поглядывая на эту сцену.

Юмор - один из элементов гения, но, как только он начинает первенствовать, - лишь суррогат последнего; он сопутствует упадочному искусству, разрушает и в конце концов уничтожает его.

Прекрасное - манифестация сокровенных сил природы; без его возникновения они навсегда остались бы сокрытыми.

Говорят: художник, изучай природу. Но не так-то просто из низменного извлечь благородное, из уродливого - прекрасное.

К назойливости юных дилетантов следует относиться снисходительно, в зрелом возрасте они станут подлинными почитателями искусства и его мастеров.

Во всяком произведении искусства, великом или малом, вплоть до самого малого, все сводится к концепции.

Никто, кроме художника, не может споспешествовать искусству. Меценаты поощряют художника. Это справедливо и хорошо; но этим не всегда поощряется искусство.

Красота никогда не уяснит себе своей сути.

Все другие искусства мы должны кредитовать, и только у греческого мы вечно остаемся в долгу.

Искусство - перелагатель неизречимого; поэтому глупостью кажется попытка вновь перелагать его словами. И все же, когда мы стараемся это делать, разум наш стяжает столько прибыли, что это с лихвой восполняет затраченное состояние.

В произведении искусства "что" интересует людей гораздо больше, чем "как". Первое они могут усвоить по частям, второе же им не удастся объять как нечто целое. Отсюда - выхватывание отдельных мест; при этом воздействие целого, если всмотреться повнимательнее, не может не сказаться и здесь; но оно воспринимается бессознательно.

Поэт призван изображать. Изображение же достигает своей вершины, лишь когда оно соревнуется с действительностью, а это значит, что наш дух сообщает описаниям такую жизненность, что начинает казаться, будто все здесь видишь воочию. На высшей своей точке поэзия кажется чисто внешней; уходя внутрь, она вступает на путь падения. Поэзия, которая изображает только внутренний мир, не воплощая его во внешнем, или только внешнее, не давая прочувствовать его изнутри, в равной мере попадает на ту последнюю ступень, с которой она сходит в обыденную жизнь.

Ораторское искусство пользуется всеми преимуществами поэзии, всеми ее правами; оно захватывает их и злоупотребляет ими, чтобы добиться в гражданской жизни известных внешних, нравственных или безнравственных, но всегда преходящих выгод.

В безыскусственной правдивости и величии, но дико и необузданно развивался талант лорда Байрона; поэтому с ним едва ли кто может сравниться.

Развивающимся талантам опасно читать Шекспира; это понуждает их воссоздавать его, они же воображают, что создают себя.

Об истории не может судить тот, кто сам не пережил ее. Так обстоит дело с целыми нациями. Немцы получили право судить о литературе лишь с той поры, как сами ее создали.

Дилетанты, сделав все, что в их силах, обычно говорят себе в оправдание, что работа еще не закончена. Разумеется! Она никогда и не может быть закончена, ибо неправильно начата. Мастер несколькими штрихами дает свою работу законченной; осуществленная или нет, она уже завершена. Даже самый искусный дилетант ошупью бредет в неопределенном, и, по мере того как растет осуществление, все яснее и яснее выступает сомнительность первоосновы. Лишь в самом конце обнаруживается упущенное, наверстать которое уже невозможно; а потому такое произведение никогда и не будет законченным.

Для подлинного искусства не существует подготовительной школы, существуют лишь подготовительные работы; лучшая из них - это участие даже самого ничтожного ученика в деле мастера. Из мальчиков, растиравших краски, выходили превосходные художники.

Согласно нашему убеждению, молодому художнику следует вовсе не начинать изучения или лишь мало отдаваться ему, если он одновременно не в состоянии обдумать, как возвести к целому каждый листок, как превратить данную деталь в приятную картину и, вставленной в раму, любезно предложить знатоку или любителю искусства.

Много прекрасного существует в мире разрозненно, и это - задача нашего духа: обнаруживать связи и тем самым создавать произведения искусства. Цветок обретает свое очарование лишь благодаря насекомому, сидящему на нем, капле росы, которая его увлажняет, сосуду, из которого он берет свою последнюю пищу. Нет ни одного куста, ни одного дерева, которому нельзя было бы придать известную значимость благодаря соседству со скалой, с источником или - большую прелесть благодаря сдержанному, простому фону. Все это относится и к человеческим фигурам и к животным всевозможных видов.

Поэзия сильнее всего воздействует в эпоху зачатий, когда культура еще не оформилась или только едва образовалась, а также при новых сдвигах в культуре, при освоении чужой культуры; следовательно, можно сказать, что в ней безусловно имеет место воздействие новизны.

Музыка - в лучшем смысле этого слова - меньше нуждается в новизне; напротив, чем она старей, тем правильной, тем сильнее она воздействует.

Величие искусства, пожалуй, ярче всего проявляется в музыке, ибо она не имеет содержания, с которым нужно считаться. Она - вся форма и наполнение. Она делает возвышенным и благородным все, что берется выразить.

Музыка может быть духовной и светской. Духовная вполне соответствует своему величию, а в этом-то и заключается ее огромное воздействие на жизнь, которое незыблемо во все времена и во все эпохи. Светская - должна быть безусловно радостной.

Музыка, в которой смешивается духовный и светский характер, - безбожна; музыка половинчатая, стремящаяся выразить слабые, жалостные, плачевные чувства, - безвкусна. Она недостаточно серьезна, чтобы быть священной, и в то же время ей не хватает основного качества ее антипода: веселости.

На вопрос, следует ли при рассматривании произведения искусства прибегать к сравнению, мы ответили бы так: знающий ценитель должен сравнивать, ибо ему уже ясна идея, у него составилось понятие о том, что может и что должно быть сделано. Любитель, стоящий на пути к знанию, скорее продвинется вперед, если он, не занимаясь сравнениями, будет рассматривать каждое достижение в отдельности; только таким путем может выработаться чувство и понимание всеобщего. Сравнения, к которым прибегают невежды, в сущности, только удобный маневр, чтобы перешагнуть через суждение.

Патриотического искусства и патриотической науки не существует. Как все высокое и благородное, они принадлежат всему миру, и споспешествовать им может только свободное взаимодействие всех современников при постоянном учете того, что осталось нам от прошедшего.

Пусть изучение греческой и римской литературы навсегда останется основой классического образования.

Китайские, индийские, египетские древности только диковины; очень полезно самому изучать их и знакомить с ними мир, но для нравственного и эстетического совершенствования они мало плодотворны.

Оригинальнейшие писатели новейшего времени оригинальны не потому, что они преподносят нам что-то новое, а потому, что они умеют говорить о вещах так, как будто это никогда не было сказано раньше.

Поэтому лучший признак оригинальности - уметь так плодотворно развить воспринятую мысль, чтобы сразу никто не сумел заметить, как много в ней сокрыто.

Многие мысли произрастают лишь из общей культуры, как цветок из зеленой ветви. В пору цветения роз розы распускаются повсюду.

Классическое - это здоровое, романтическое - больное.

Литература портится лишь в той мере, в какой люди становятся испорченнее.

Генрих Четвертый Шекспира. Если бы погибло все, что когда-либо было написано в этом жанре, то по нему одному можно было бы полностью восстановить и поэзию и риторiku.

Тиль Уленшпигель. Занятность этой книги главным образом построена на том, что все действующие лица выражаются фигурально. Уленшпигель же принимает все за чистую монету.

При переводе следует доходить лишь до границы переводимого; переступишь ее - и столкнешься с чужим народом, с чужим языком.

Тому, кто хочет упрекать автора в темнотах, следует заглянуть в свой внутренний мир, достаточно ли там светло. В сумерках даже очень четкий почерк становится неразборчивым.

Природу и идею нельзя разобщать без того, чтобы не разрушить искусства, равно как и жизни.

Мы ничего не знаем о мире вне его отношения к человеку; мы не хотим никакого искусства, которое не было бы сколком с этих отношений.

Создания искусства разрушаются, как только исчезает чутье к искусству.